



Б. А. ГРИФЦОВ

В. В. Розанов

Странный, загадочно-талантливый, полный неистребимых противоречий облик В. В. Розанова мало известен широкой публике. И для этого немало оснований. В своем самом существенном и характерном он проходит мимо обычных требований элементарного, общедоступного и общепольного. Из года в год повторять про торжество разума или, еще проще, про единую спасительность конституции — это очевидно благородно и очевидно правильно, а потому? хотя публике будет немножко скучно, но от этих повторений она все же не откажется. И до некоторой степени будет права. Ведь для какой-то области конституция действительно будет спасением, отчего же и не расширить эту область? Недоверие ко всему проблематичному, тревожному — это уже укоренившаяся привычка. Молния великолепна и таинственна, но она бывает редко и каким-то непонятным зигзагом и неожиданно пререзает мрак и хаос. Вместо молнии и хаоса можно поставить перед собой скромно и правильно работающую лампу. Можно занавеситься плотными занавесками и любоваться на ровный кружок света вокруг лампы на столе.

Но кроме такой принципиальной чуждости, целым рядом случайных заборов загородил себя кругом Розанов. И пока разберешься в том, случайны они или нет, они успеют не раз привести в ужас. Когда еще их разломаешь! И кому хочется брать на себя лишний труд. Ведь, в самом деле, не в каждом же публицисте из «Нового времени» искать талантливого философа. Лучше всех их огулом свалить за забор. Так, во всяком случае, будет спокойнее.

«Новое время» — газета, несомненно, гнусная. А совсем ли уж случайно работает в ней Розанов? Увы, даже в самом сердце раненый Розановым, я все же не могу сказать, что случайно. И не только в славянофильском, христианском, злобно монархи-

ческом Розанове было нововременское, но не истребляется оно в нем и теперь, после всех бесконечных бурь, кризисов, просветлений. Так недавно написал он огненную брошюрку о русской революции, ослабнувшим фетишем обозвал монархию¹ и все-таки и теперь не может забыть старой и заплесневевшей песенки. «Русский солдат есть будущий победитель мира», твердит он в одной из последних книг. А какие из этого следуют выводы, можно без труда сообразить. Да и сам он об них говорит с полной и достаточно циничной откровенностью, ну, хотя бы в совсем недавнем фельетоне о памятнике Александру III («Русск<ое> слово»)².

И в каком-то отношении эти политические взгляды сплетаются в очень крепкую сетку вокруг души Розанова. Ведь может быть и так, что до политических взглядов иного философа или поэта нет никакого дела. Только очень рьяные марксисты станут выискивать, как смотрели на аграрный вопрос Кант или Пушкин, а обыкновенному исследователю и в голову не придет, читая «Критику чистого разума», справляться в таблицах политической благонадежности. Совсем иначе состоит дело с Розановым. «В быте сам Господь Бог почил» — так верует он всю жизнь, и об этом принципе немало придется еще говорить. Но пока достаточно спросить: на какой же именно быт устремлены внимание и любовь Розанова? В прежних книгах его на этот вопрос найдется совсем определенный ответ. Раз как-то рассуждает он о том, как счастлив был Грибоедов, и говорит так: «Грибоедов имел радость в своей молодости, в здоровье, в прекрасной и любящей жене, в счастливо слагавшейся службе, в сознании высокого и прекрасного своего таланта» (8.194)*. Иначе разместить «элементы счастья» Розанову и в голову не придет, потому что

* Для простоты я цифрами обозначаю книги В. В. Розанова, принимая хронологическую последовательность. Список его книг и брошюр таков: 1) О понимании. М. 1886. 2) Место христианства в истории. М. 1890 (брошюра, вошедшая также в сборник его статей «Религия и культура»). 3) Легенда о Великом Инквизиторе. СПб. 1893³. 4) Красота в природе. М. 1895 (вошло в сборник «Природа и история»). 5) Религия и культура. СПб. 1899. 6) Сумерки просвещения. СПб. 1899. 7) Природа и история. СПб. 1900. 8) Литературные очерки. СПб. 1900. 9) В мире неясного и нерешенного. СПб. 1901. 10) Семейный вопрос в России. 2 т. СПб. 1903. 11) Декаденты. 1904 (брошюра вошла в сборник «Религия и культура»). 12) Около церковных стен. 2 т. СПб. 1906. 13) Ослабнувший фетиш. СПб. 1906. 14) Итальянские впечатления. СПб. 1909. 15) Когда начальство ушло. СПб. 1910.

для него этот порядок и естествен. Конечно, и для поэта не только здоровье и любящая жена, но даже счастливая служба куда важнее таланта.

Или еще совсем наудачу взятый пример. Будет Розанов рецензировать богатую материалом книгу Барсукова «Жизнь и труды Погодина», существенное в ней все опустит, но не упустит случая восхититься преданностью Погодина вере и престолу или его мечтам о том, «как он делается вице-губернатором и, наконец, министром просвещения и учреждает особенный орден для ученых» (5.69). Мечты самого Розанова фантастичны всегда до чрезвычайности, мечты Погодина дальше вице-губернаторства и ордена не идут, но ради такой скудости можно и о фантастичности своей забыть. Так уж с детства пошло полагать, что выше священника и губернатора разве только сам Бог.

И в самые метафизические, чудесные построения его будет вплетаться это с молоком впитанное почитание самого обыденного быта. Есть у Розанова книга «В мире неясного и нерешенного». Книга с поразительным полетом мысли, с невероятной прямо жгучестью и захватом. Там читатель найдет, кроме статей самого Розанова, и те письма, которые присылали ему по поводу его статей. Может быть, для объективности, для разностороннего освещения вопроса? Как будто бы и так, но есть и такая прибавка: «читатель да не посетует, что ради немногих бесценного значения строк — я печатаю, как обстановку их, эти письма» (9.102). Вот обстановка-то и выходит довольно неожиданная. Одно письмо наивного сельского батюшки так и кончается вопросом: «А какую должность теперь вы в Петербурге занимаете?» — Очевидно, любопытство его было удовлетворено, и в следующем уже письме, посвященном вопросу о метафизическом смысле пола, есть уже и такая приписка: «Так вот вы где? Чиновником состоите? А я полагал, что вы служите по учебному ведомству» (9.121). Бедный немецкий профессор, которому придется со временем читать книги Розанова, как будет найти ему логическую связь между метафизикой и обстановкой? И как придется оценивать все сообщения корреспондентов Розанова о раке в желудке племянника, о выходе замуж младшей из трех дочерей корреспондента. (Если всего этого не припишут корреспонденты сами, то Розанов не упустит случая все подробно разъяснить в примечаниях.) Таков разлад метафизики и обстановки, и трещина проходит глубоко, глубоко, почти до самой души. Розанов философ отвлеченный и фантастичный, его душе наиболее близки проблемы космические, но какой-то толчок выбросил его из уединения, из романтических мечтаний в газетную

обыденность. В газете проходят его мысли, в газете ежедневной, торопливой, еле читаемой, среди столбцов хроники и нудной политики. И вот теперь уже трудно отделить его от газетной торопливости. Случается и ему иногда вспоминать с большой болью о том, что если бы иначе в России относились к философам, никогда не стал бы он газетным работником. Но вот возьмем его первую книгу, с которой он начал свою деятельность. Огромная книга «О понимании». 700 страниц мелкой печати. В конце приклеены большие вкладные листы с таблицами понятий. Все так вербально, схоластично, тускло. Прочесть эту скучнейшую книгу нет никакой возможности. А потом идут сборники газетных и журнальных статей. В них нет никогда привычной последовательности, никогда нет писания на тему. Тема только в основном чувстве, на основную нить нанизываются самые пестрые факты, фактические мелочи, бытовые подробности, случайные воспоминания. Таким и остается его стиль навсегда.

Можно было бы сказать, что по живости своих фельетонов Розанов идеальный газетный работник. Это — незаменимый газетный стиль, среди отчетливо схваченных мелочей, конкретностей внезапные отвлеченные острые мысли, сложные обобщения. И еще газетная черта — торопливость. Он никогда не даст отстояться своим мыслям. Очередной фельетон не ждет, и торопливость становится обычной манерой. Схватить первые попавшиеся мысли, их как-то связать, пронизать своими душевными лучами. Да, в этом-то и дело. На какую тему, о чем, — это вовсе не важно. Ведь, в конце концов, все о том же, все о том же — о темных источниках своей души, о самом себе, о своих фантастических, широко раскинувшихся мыслях.

И все-таки, разве не забор вокруг души Розанова эти бесчисленные простыни «Нового времени»? И забор не только для близирущих читателей, но и для него самого. Ведь у самого него порой вырывается плач о том, что только для современной, ничтожной, словесной культуры характерна и «потребность газетного чтения, не услаждающих и ненужных впечатлений» (6.91). И с какой искренностью молит он в другом фельетоне о том, «чтобы читатель на минуту, только на минуту забыл, что он читает ежедневную и политическую газету» (8.127). Дело все-таки не так просто. И, создав из себя идеального фельетониста, не потерял ли вместе с тем Розанов чего-то иного?

Но, во всяком случае, газета стала влиятельным фактом его творчества и мысли. И с каким трудом вырываются из клубков газетных наблюдений его собственные, до самой сущности своей чуждые современной действительности, иррациональные построения.

Отделить газету от теории, обстановку от метафизики трудно. Многие связи так и остаются непонятными. Смог ли отделить существенное, настоящее от наблюдений, от манеры, от газетных строчек — за это не поручишься.

И особенно в одном. Спрашиваешь, потому ли циничен Розанов, что связался с «Новым временем», или он в «Новое время» пошел из-за своей природной циничности? А циничность его несомненна, часто непонятна. Я уже приводил отрывки. Вот несколько примеров еще. Одна из книг Розанова носит заглавие «Литературные очерки» и там есть статья также с очень простым и вразумительным заглавием «О писателях и писательстве», но она заканчивается пространством рассуждением о бане. И чем иным, как не издевательством, будет размышление его о том, «что бани есть гораздо более замечательное явление, нежели английская конституция» (8.233). Ну, здесь хоть немножко из «Нового времени». Но вот другая тема: о Пушкине. Ведь трудно найти другого мыслителя, для кого поэзия была бы более священна, кто бы более ее чуял. И тем не менее в статье есть такие слова: «Пушкин нам милее по свойству нашей лени, апатии, недвижимости; все мы любим осень, камелек, теплую фуфайку и валеные сапоги» (8.165).

Этот цинизм Розанова многообразен, принимает самые причудливые формы. В одной статье своей Розанов пишет о декадентстве, видя в нем характерное завершение индивидуалистической мертвенной европейской культуры, он думает, что декадентство без труда выводимо из Мопассана, который в свою очередь связывается с Золя и т. д. Но как-то невольно в этой же статье Розанов проговаривается: «Мне не случилось что-нибудь прочесть из Мопассана или Золя» (5.132). Или точно так же пишет он о Михайловском и признается тут же: «мне известна только часть *orega omnia* * Михайловского, где он со мной полемизировал» (7.255).

Это не случайно, и примеры можно было бы удесятить, и минутами делается понятным и кажется заслуженным то предубеждение, которым окружено имя Розанова. Да, это так и должно быть. Он всю жизнь пишет о том, что святые погашены, растоптаны, он мечтает о новой небывалой культуре, он глумится над рационалистической критикой, и в то же время Пушкин, фуфайка, валяные сапоги. Полюбив Розанова, все-таки этого ему не простишь, а подходя к нему, от фуфайки отшатнешься дальше, чем от благородных размышлений Скабичевского.

* полное собрание сочинений (лат.).

И все-таки даже в этом циничнейшем пренебрежении к окружающей культуре есть и другая сторона, даже в нем открывается, может быть, та же огромная переполненность Розанова собою. По существу, ему никто не нужен и ничто не нужно. Ему слишком много самого себя. Все прочее только тема, только предлог высказаться.

В самом деле, нельзя пройти мимо этой черты Розанова. Лет пять назад в русской журналистике был поднят вопрос из сферы философии истории. Поводом для довольно шумной полемики был перевод книги Г. Риккерта «Границы естественно-научного образования понятий»⁴. Индивидуальное — истинный предмет истории, отнесение к ценности ее метода — вот два лозунга, с которыми была начата методологическая революция. Розанов едва ли слышал о Риккертe и во всяком случае его не читал. И даже больше того, самая возможность гносеологической постановки вопроса ему чужда. С таким трудом выработавшаяся школа новой философии — проста незнакома ему. И тем не менее было бы вовсе не так бесплодно сопоставить Риккерта и хотя бы книгу Розанова «Природа и история». До какой степени чужды друг другу эти два хода мыслей. Вся прелесть Риккерта в невероятной логической тонкости, в безупречном соединении понятий, строжайше проверенных, разобранных, отточенных. Легкая и неприступная постройка, созидаемая годами напряженной, медленной и спокойной работы. Вне книги с законченными и строго симметричными главами немыслима система Риккерта. Все ее значение в логически обязательном соединении отчетливых терминов. И вместе с тем она естественный итог работ на много лет преемственной философской школы. Точно так же, как сам он принял задачи от своих философских отцов, точно так же передаст он проблемы недоразрешенные своим философским детям.

Розанову проблемы философии истории достались как-то случайно. Читал ли он совсем обязательного Канта? Едва ли. Эти вопросы пришли в куче других, пестрых, неразобранных. Даже пришли не сколько как проблемы, сколько как неясные ощущения. Это делается каким-то непосредственным чутьем. У Розанова нет учителей и невозможны ученики. Да и он сам схватил эти мысли об индивидуальном, о ценностях, о примате практического разума над теоретическим, бросил их небрежно, как почти несомненные ощущения, но рядом с этим пришли и вопросы о монархии, и о декадентстве, о православии, о смысле европейской культуры, о принципах новой педагогики, о церкви, о Библии и о церковном предании, о поле, браке и о положении священников — все это вместе, почти сразу и большое и малое, и

космическое и мелко-бытовое, и метафизическое и узко-ново-временское. Вовсе не к тому, чтобы восхвалять широту русской природы, стоит это отметить. Ведь рядом с широтой является просто невежественность. И сколько раз приходилось тому же Розанову писать по вопросам, о которых он ровно таки ничего не знал. Но другое здесь важно. Вот основная проблема после-кантовской философии: отношение разума теоретического к практическому, о примате второго — как постулат. Небрежно брошенная Розановым фраза: «человек вовсе не хочет быть только средством» (8.106), не стоит ли целотомных комментариев? Каким-то верхним чутьем он схватывал чрезвычайно острые проблемы, ничего почти не читая, он ставил те же вопросы, что выносила на гребень своих волн европейская ученая философия. Сам весь в быту и практике, Розанов оказался значительным теоретиком.

Вот снова и снова тот же основной разлад между «верхним чутьем» и земными привязанностями. <...>

III

Цельного изложения системы, конечно, и быть не может у Розанова по самому его темпераменту. По его отдельным статьям «Место христианства в истории»⁵, «Красота в природе и ее смысл»⁶ и наконец «О символистах и декадентах»⁷ можно наметить ее захват, притязания и принципы. Десятилетие охватывают эти статьи, но при всей странной неподвижности Розанова очертания его мыслей долго не менялись. Это совсем не наскоро набросанные возражения против позитивизма, но широко и детально разработанный строй понятий. От вопроса о смысле современности — переход на следующую ступень — к жизни человечества, потом еще дальше, — еще шире — вход в смысл космической жизни. Так в логической схеме можно поставить эти статьи, в ином хронологически порядке написанные и по очень различным и случайным поводам.

Статья конца 90-х годов «О символистах и декадентах» из сборника «Религия и культура», позже изданная случайной, отдельной брошюрой «Декаденты» — ставит очередной газетный вопрос. Поскольку статья относится к теме, она совсем не любопытна. Это обычное глумление над «Тень несозданных созданий», над «О, закрой свои бледные ноги»⁸. Выдержано в роде обычных глумлений. Все сваливается в кучу. Чудесная и нежная песня Метерлинка «Моя душа больна весь день» относится к крикли-

вой бутафорщине, туда же причисляются и проблески подлинного Брюсова.

Написано это с той же небрежностью, как и в большинстве случаев пишется о декадентстве, только с большей откровенностью. Один из тезисов таков — декадентство без труда выводимо из Мопассана, далее из Золя, Флобера, Бальзака — и тут же рядом признание: «Мне не случилось что-нибудь прочесть из Мопассана или Золя» (5.132).

Если стоит об этом хоть немножко упомянуть, так только потому, что столкнулись здесь большой писатель и большая тема.

А до какой степени ничего из этого на этот раз не вышло, можно судить просто по тому, что лучшее из всего написанного Розановым очень скоро станет печататься в «Мире искусства», «Весах», «Новом пути», т. е. органах как раз того «бессмысленного и уродливого символизма», «отрицательное отношение к которому бесспорно для всякого» (5.138).

Важно другое, не тема, но далекий полет мысли по поводу ее. Розанов рассматривает декадентство, только как крайнее выражение всей европейской культуры после Возрождения. По обыкновению, говоря не о том, что значит в заглавии, он на нескольких страничках разрешает проблему отношения средневековья к эпохе Возрождения и смысла всей новой европейской культуры. Тезис дается разом:

«Великое самоограничение человека, тянувшееся десять веков, дало между XIV и XVI веком нашей эры весь цвет так называемого Возрождения». «Средние века были великим кладохранилищем сил человеческих: в их аскетизме, в их отречении человека от себя; в презрении его к красоте своей, к силам своим, к уму своему — эти силы, это сердце, ум были сбережены до времени. Эпоха Возрождения была эпохой открытия этого клада». «В этом великом тысячелетнем молчании душа человека созрела».

Вся новая история представляется Розанову только тратой несметных сокровищ, тогда открывшихся. Человек не хочет более молчать, он разучается молиться. Он сбрасывает с себя церковь, сбрасывает государство, сбрасывает все, что мешает независимому обнаружению своего я... «до тех пор пока это я, превознесенное, изукрашенное, огражденное законодательствами, на развалинах *всех великих связующих институтов: церкви, отечества, семьи* — не определяет себя к исходу XIX в. в этом неожиданном, кратком, но и вместе выразительном пожелании:

О, закрой свои бледные ноги» (5.137).

Таков ход мыслей Розанова, таков, по его мнению, ход европейской истории. В нем снова много сторон. Раньше всего резюмирование новой истории на одной странице, конечно, не может быть более достоверным, чем скудная постройка Бокля. Но ведь можно и иначе взглянуть: без притязаний на общеобязательную истинность — это может приниматься, как великолепная фантастика. И самая мысль о скрытом смысле средневековья о, это вовсе не бесплодная мысль. И совсем иные источники, наверно, прикуют вскоре внимание к загадочной и огромной культуре средневековья. Каким-то темным инстинктом учуял Розанов неоткрытую сокровищницу. Но взять из нее пока осмелился только самое скучное, самое обыденное — только эти «великие связующие институты». Это типичный разлад. Но для него тогда это даже не было разладом. Тогда-то он был слишком уверен, уверен вплоть до возможности патетической и широковещательной проповеди. Так характерно, что и в хаосе и загадочных муках средневековья, к которому влек его темный, но верный инстинкт, он смог увидеть как раз благополучие, обыденный быт, связующие институты, благополучие — во что бы то ни стало.

Раз «религия своего я, поэзия этого я, философия того же я исчерпали, наконец, свое содержание» и настало уродство, то противоядие нужно искать, конечно, в том, что было отвергнуто слишком болтливим я — в аскетизме, в связующих институтах. Декадентство уродливо, но оно «генетически связуется со всем гениальным и высоким, что создано было *не связанною личностью*», напротив, грань, для него не переступаемая, кладется там, где человек понимал себя всегда связанным».

«Великий материк истории, материк реальных дел, практических потребностей — и, более этого всего, религии *переданной*, церкви *сложившейся* — вот на берег чего никогда не может выползти это смрадное чудовище и куда, убегая его, мы хотим указать — может всегда спастись человек. Там, где поднимается монастырская стена, это движение неверных волн истории, какую бы оно силу и распространение вокруг не получало — окончится и отхлынет назад» (5.139).

Примечание сделано ясное — «мы хотим указать», и смысл проповеди не темен точно так же. Монастырь, церковное предание, практические потребности — вот лекарственные меры, и в их глубине только одна мольба: спокойствия! благополучия во чтобы то ни стало!

Обращая свой взор на историю всего человечества в своей речи «Место христианства в истории» (произнесенной на публичном акте Елецкой гимназии по случаю 900-летия крещения Руси),

Розанов и в жизни всего человечества заметит некоторую единую мысль, единую целесообразность. Твердая уверенность господствует в нем, что не трудно открыть «план истории».

План этот таков. Было два великих племени: арийское и семитическое. Ариец обращен на внешнее, его наука и философия носят опытный, наблюдательный характер; наука, искусство, государство — вот три главных продукта его творчества, он жизнерадостен, объективен.

Семиты абстрактны, только субъективные искусства — музыка и лирика — процветали у них, не было преданий, не было государства. Но душа семита «не запятнана была земными помыслами», за это еврейский народ был избран, поэтому-то только ему и было дано в ветхозаветные времена откровение. Но он был безжалостен к Божию творению и за это позже был наказан, отвергнут. А в то же время и в Греции совершается переворот, возвышение от земли к духу, подготовка христианства.

Когда же появляются новые расы, свежие народы, они соединяют то, что было разделено ранее. Появляется христианство — синтез земного и небесного и вместе с тем как завершение истории, ибо иначе скомбинировать эти два элемента невозможно, да и новым народам больше неоткуда прийти. Христианская культура — последняя культура и высшая.

Так Розанов читает в книгах судьбы. Так премудро устроил все Бог, так все целесообразно и нравоучительно.

Когда позже рухнет так знаменательно вся эта система, как неизбежно разрушается и всякая метафизика в понятиях, тогда — это любопытно отметить, иные провиденциальные черты увидит Розанов и в этнографическом материале. Ведь скоро станет у Розанова наиболее лелеемой мысль о том, что евреи благословенны за свою любовь к земному. Скоро и в античной религии для Розанова окажется драгоценнейшее зерно — благословение домашнего очага, а очаг станет единственным подлинным нуменом. И будет он биться в тисках этого, в горький час придуманного плана истории, арифметического постижения судеб человеческих.

Но пока он спокойно и вполне благополучно воздвигает из отвлеченных понятий холодное и гармоничное здание. И как бы ни нарушали вдруг временами цельность его отдельные случайные и яркие вспышки хаотизма, здание все-таки воздвигнуто. Его широким основанием является проблема космическая. Ясен смысл нового времени — оно безумный расточитель сокровищ средневековья. Ясен смысл истории всего человечества — она несет в себе как идею и цель, — христианство. Но и во всем

мире та же целесообразность, тот же единый смысл. Об этом вопросе говорит статья Розанова «Красота в природе и ее смысл». Не механически, но телеологически следует рассматривать мировую жизнь. И тогда в ней будет открыт некоторый мировой центр, «по направлению к которому шевельнулось вещество», приближаясь к которому оно становится все оживленнее и прекраснее. Этот центр — Бог.

В органической жизни не трудно заметить восходящий ряд существ, гранью развития которых является человек, «но достигнув этой грани, *органическая* энергия не останавливается, а преобразовывается в *психическую*» (7.101). С этой ступени начинается новая цепь восхождений. В человечестве выделяются расы, в предельной и высшей из них — кавказской — мы находим историю. Та же дифференциация в дальнейшем постигает и избранные исторические народы: «масса народная всегда является в истории только служебным материалом» (7.85), ею руководят исторические *роды*, которые в свою очередь целью своего развития имеют образование *гения*. Гениальным завершается история и в то же время гений в своем творчестве всегда проявляет эту основную идею, этот скрытый центр мировой жизни.

Гений всегда религиозен.

Такова схема мировой жизни. Логически выводятся два основных постулата: целесообразность, Бог. Так же логически выводится преимущественное значение христианства, и, как его формы — аскетизма.

Как бы ни стало чуждо вскоре все это построение самому Розанову, все-таки приглядеться к нему очень стоит и потому, что совсем выйти из его рамок ему все-таки никогда не удастся, и потому, что слишком часто встречается такой тип метафизического построения. Каким-то роковым и властным образом надвигается самая эта типичность даже на смелого и независимого мыслителя и поглощает его. Какая-то роковая неизбежность сковывает мысль. Намечаются два основных типа мысли в новое время, в когти того или другого уже непременно попадает почти всякий мыслитель. Отшатываясь от позитивизма, впадает в логическую метафизику.

Сам же Розанов провозглашает требование: и «мир не хочет быть плоским и ясным как доска, как день, как утро, как биржа» (5.174), и в то же время антитезой упрощающему позитивизму ставит нисколько не менее упрощающую и не менее плоскую метафизику. Что же может быть скучнее такого размещения по клеткам понятий — Бог, гений, род? Но это не только скуч-

но, не только противоречиво, это в некотором отношении возмутительно. Ведь это не просто академический поединок между идеализмом и позитивизмом. Ведь здесь ставятся последние вопросы, погребаются последние надежды. Вот погибаем в скуке науки и биржи. В религии не найдем ли утешения?

И, однако, странное дело — или религия есть, и тогда она не нуждается в логических подпорках, или ее нет. — Как бы ни оценивать логически смысл музыки, все-таки она как факт захватит, завлечет, зачарует сама, пронзит сердце, — а потом говори, пожалуй, о ее логическом смысле. Сердце пронзит, ощущение чуда унесешь с собой. Но вот на место религиозного факта дается логическое доказательство бытия Божия, целесообразности мира. И намек на живое и совсем иное ощущение не дается. Дается иное логическое толкование, но все же логическое. И как бы ни быть убежденным, что логике нет и не может быть места в этих вопросах, от которых душа живую болью должна болеть — все равно, раз дается логическое толкование, то и ответ должен быть логический. А логический ответ будет таков: Бог и целесообразность есть не наблюдаемый закон, а постулат. Постулат приемлем только тогда, когда вся цепь выводимых из него заключений логически непрерывна, неизбежна, когда совершенно закрыта возможность мыслить иначе.

Но при таких требованиях система Розанова представляет печальное зрелище. Совершенно случайно взятые термины не прошли нисколько через горнило логической обработки. Что, например, имеет в виду Розанов под термином «гений»? Объяснения никакого. Обращаемся к примерам, оказывается, что гении — и Рафаэль, и сладенький Мурильо⁹, и Бэкон¹⁰, и Александр Македонский. Ведь как нарочно и таланты-то все больше второстепенные оказались гениями, и уж что общего между Мурильо и Александром Македонским, до того общего, что их относит в одну логическую категорию? И что ни термин, то такие же неясности, так что настезь открыты двери возможности мыслить иначе и как угодно. Что такое *исторический* народ? Разве не всякий народ принципиально доступен и интересен истории? Или еще, что белая раса высшая раса, доказывается тем, что она красивее всех. Недурно бы для общеобязательности и мнение негра о красоте спросить. Или смелый, но не без риска скачок: «органическая энергия преобразовывается в психическую», — что это значит? И как преобразовывается? И возможно ли такое преобразование? Словом, вопросы, спорность, сомнения — и только. Система распадается на случайные мнения, на отдельные и ни для кого не обязательные высказывания вкусов самого Розанова.

Все эти замечания, конечно, между прочим и только по тому поводу, что в данном случае появилась роковая неизбежность. Всякую метафизику, как систему понятий, притязующих на общеобязательность, ждет та же участь. Будет ли то материализм, марксизм или христианская метафизика — они все равным образом создаются людьми, уверенными в возможности познания в понятиях огромных полей жизни, и всегда их ждет одно и то же наказание за эту уверенность — наказание — в виде полной логической случайности их систем. А если все эти метафизические построения не притязают на доказательство и общеобязательность, они, конечно, могут быть любопытны, приемлемы, могут сильно захватывать, как всякая фантастика. И тогда весь вопрос будет в том, интересны ли они? И неужели нельзя придумать чего-нибудь повеселее, чем эти правильные сухие ряды, чем вся эта Бокля достойная арифметика?

До сих пор говорилось об общих очертаниях преимущественно теоретической части системы Розанова. Но ее захват был широк, и до подробностей она была установлена и как будто бы крепко спаяна. Планомерно располагались и ветви системы. Христианство, традиция естественно влекли за собой и практический консерватизм, его обостряла посторонняя близость Розанову национального вопроса. Из всех этих элементов создавалось *славянофильство* Розанова, и очень притязательное славянофильство. Нельзя сказать, чтобы сам он внес какой-нибудь новый элемент в славянофильское учение и, если чем от прежних славянофилов отличался, так только большим доверием к нынешним формам власти. Чиновничество излюблено Розановым, да и «Новое время» не оставило его без своего влияния.

Но как бы то ни было, притязания снова огромны. «Нет, славянофильство не умерло; оно все возрастает, все развивается». Это восклицание часто встречается. Аргументы обычные: необходимо «продлить культурное существование человечества через отсечение славянского мира от очевидно разлагающейся культуры западной Европы» (8.27); «Община удержалась у нас 1000 лет» (8.75) и т. д.

Но вот иногда происходили и в этой спокойной и выясненной системе какие-то странные изломы. Ведь, кажется, пристань найдена, место для каждого во вселенной указано, все верховные понятия дедуцированы, таблички дозволенного и запрещенного вывешены, а главное: все это покоится на быте, на связи, на предании — можно было бы совсем успокоиться. И тем не менее в какой-нибудь статье Розанова «О монархии» в твердо, на китах

стоящем «Русском обозрении» (1893, № 2) вдруг найдешь такое странное издевательство над самим собой, то ли отчаянный цинизм, то ли просто отчаяние, что как-то даже растеряешься.

Статья эта, в самом деле, очень любопытна.

Начинается она выкриком не очень скромным: «В Европе все не хотят понять, что естественный вид политического быта для новых народов есть монархия». И далее на поучение Европе приводится напоминание о том, что «христианство, появление новых рас на смену прежних, умирающих и установление монархии на месте древней республики — три факта, отделившие древний мир от нового». Ну, а так как новых племен больше ждать неоткуда, и синтез последний дан в христианстве, то и соответствующая форма жизни — монархия, ясно, так же последняя, и пора бы об этом Европе вспомнить.

Этнографические соображения мы уж оставим пока в стороне, а вот любопытно кое-что из эмоций, которые влагает Розанов во все это рассуждение, некоторые конкретные образы, которыми он его иллюстрирует.

Вот в каком образе Розанов передает свое впечатление от момента гибели античности и появления христианства: «Человек, гордый своими силами, умер: человек, как предмет зависти богов, правый пред ними и пред людьми, исчез; умер богатый и остался один Лазарь. Нужно ли было ему идти на Олимпийские игры? Или слушать ораторов? Подавать голос в народных собраниях? Все болело в нем, все точилось в язвах, было замазано гноем».

Этот образ, совершенно неожиданно и необычайно символизирующий для Розанова все 19 веков европейской культуры, служит для него живым объяснением, почему неизбежна вера теперь и почему возможна только монархия. Человек беден, слеп, ограничен, он — Лазарь гноящийся, что же может дать ему незыблемость, как не одна только вера? И «что может сделать с человеком история, раз он уже ко всему готов»? У него только терпение, только покорность, и где же Лазарю подавать голос в народных собраниях? Нет, уж он лучше с мольбой и верой будет смотреть на монарха. «Не дела, о, нет, чтут новые народы в своих государях... чтут, что их скорбям там есть отклик в милосердном сердце; что жалость там не оскудевает».

На этом фантастическом объяснении Розанов настаивает до конца статьи. И чем же тогда будет революция? Попыткой гноящегося Лазаря встать на колесницу, вспомнить о былом величии.

«Лазарь почувствовал себя, наконец, зажившим; ему жестка прежняя солома, скучен бедный кров... он приподнимается, тщательно зати-

рает он рубцы заживших ран и насыпает пудры на остатки своих волос; он все еще надеется явить миру прекрасное зрелище; он выходит и требует себе колесницу. Но как изменилось все, кроме этих могучих коней... Вот Лазарь, тщательно запрятывая мотающиеся лохмотья своих повязок, заносит ногу и берет возжи... он унесется в безграничную даль; он никогда не увидит этого отвратительного сарая, где он проводит свои дни — сияние огней, веселые пиршества».

Естественно, далее изображается, как Лазарь упал, и высказываются сожаления, что кто-то злобно и высокомерно издевавшийся дал ему злополучный совет выйти из сарая.

Что это за кошмарные видения? И каково было Розанову, при его твердой уверенности в том, что христианство и монархия — уже окончательные и неизменные формы, каково было думать, что христианство и монархия и вся новая история, ими созданная, — есть только отвратительный сарай, только лохмотья, изношенная туфля, облезлые волосы, гноящиеся раны.

Разумное, строгое, благополучное построение от разума и минутами такой отчаянный крик от души. Что важнее и что выражает подлинного Розанова?

Но крик только минутами. Не нужно забывать, что только в редкие минуты.

И если, наконец, посмотреть систему его еще с одной последней стороны, снова можно будет еще раз увидеть, как плавно и спокойно распростерлось это благополучие. Через стену метафизики, понятий, христианства не доносился ветер.

И диких зверей даже оказывалось возможным приручать. Да, конечно, диких. Инстинктивной любви к дикому не преодолеть, но, в крайнем случае, благочестивой проповедью их можно приручать, делать безвредными и славословящими.

Так пытался Розанов приручить Достоевского в своей книге «Легенда о Великом Инквизиторе». Судьба посмеялась над Розановым, создав в публике успех этой его книге (она разошлась в трех изданиях), между тем в ней нет буквально ни одной черточки будущего, подлинного Розанова. Правда и позже у Розанова иногда мелькает такая мысль о Достоевском: «как высоко умиление его страдающей души» (8.149). Но, очевидно, это уже совсем случайное воспоминание об обломках прежней системы. А во времена этой системы Розанов всю книгу посвятил прославлению благочестия Достоевского.

Если Достоевский подчас рисовал образ скучающей Клеопатры, втыкающей золотые булавки в груди своих невольниц, так это только показатель того, что «душа, в которой зародились столь различные звуки и образы, способна побороться со всем, с чем человек в силах бороться» (3.31). Правда, бывает у Достоев-

ского «душная атмосфера каких-то странных идей и чувств», в романе «Преступление и наказание» есть даже диалектика, оправдывающая преступление, но несомненно, этим же романом «показано, как непреодолимо и страшно гибнет человек, раз сошедший с путей, не им предустановленных» (3.61). «Наше общество, идущее вперед без преданий, недоразвившееся ни до какой религии, ни до какого долга... символизировано в этом лице» (3.62).

Но вершина творчества Достоевского — «Братья Карамазовы», а их вершина — Легенда о Великом Инквизиторе, напоминающая нам, что акты грехопадения, искупления и вечного возмездия за добро и зло суть три мистические акта, источник вечных сил человека. И еще вершина, конечно, Алеша. Тот самый Алеша, которого даже Н. К. Михайловский (не слишком тонкий критик Достоевского) оценил, весьма удачно сказав про «томительную скуку всего, что относится к сюсюкающему младенцу Алеше»¹¹. Розанов полагает иначе: «Алеша — истинное олицетворение малого ростка в огромном гниющем семени жизни» (3.200).

В заключение читается и нотация Достоевскому на «его лепет о каком-то им открываемом подлинном христианстве, «как будто христианство еще не выразило и не определило себя... Церковь была, есть и останется злато-главна, верхо-главна... она авторитетна, иерархична. Ничего этого не разобрал Достоевский» (3.243).

Словом, Достоевский ни о чем не хлопотал, как только об оправдании розановско-христианской системы метафизики. Но и на этот раз Розанов был откровенен и в приложении к книге привел отрывки из ранних произведений Достоевского, относящиеся к теме. Так вот и в этих отрывках есть заявления Достоевского достаточно решительные: «И с чего это взяли все мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения?» Или еще: «не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод... и для чего человек готов против всех законов пойти, т. е. против рассудка, чести, покоя, благоденствия — одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей».

Чтобы далеко не ходить, и этих двух изречений достаточно для отметки иной какой-то линии в Достоевском, ради которой он проживет, когда и следа не останется от христианских догматик. Много нужно в Достоевском вычеркнуть, почти что всего его зачеркнуть, чтобы приручить его в сюсюкающего младенца.

И к другому дикому явлению влечет Розанова инстинкт — к Гоголю, и снова влечение смиренно склоняется перед жаждой нра-

воучений. Впрочем, в статьях Розанова о Гоголе есть другая сторона, которая выделяет их в истории русской критики. Вопреки безнадежному унылому школьному мнению о реализме Гоголя, Розанов, кажется, первый указал, что ничего общего с реализмом у Гоголя не было*. Но эта достойная быть отмеченной мысль все-таки понадобилась Розанову для некоторых выводов.

«Гоголь — гениальный, но извращенный» (8.88) — вот основное признание. «Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидел он в ней» (3.18). «Его типы только карикатурны, дети и те безобразны. Описания природы напряженны, но абстрактны. С Гоголя начинается *потеря чувств действительности*». (3.264). Переходим после Гоголя к какому-нибудь новому писателю, «впервые слышим человеческие голоса, видим гнев и радость на человеческих лицах, знаем, как смешны иногда они бывают: и все-таки любим их, потому что чувствуем, что они люди» (3.22). Кто же в конце-концов прав? «Человечество грезило, и Гоголь один видел правду, или сам он грезил и свои большие грезы рассказал нам, как действительность?»

Ответ дается очень определенный и основное чувство, основное требование Розанова в те времена очень подчеркивающий.

«Успокоение — вот то, в чем мы всего более нуждаемся. Нет ясности в нашем сознании, нет естественности в движении нашего чувства, нет простоты в нашем отношении к действительности. Мы возбуждены, встревожены, — и это возбуждение, эта тревога сказывается конвульсивностью наших действий и беспорядочностью мыслей» (3.264).

«Воображение Гоголя *растлило* наши души и разорвало жизнь, исполнив то и другое глубочайшего страдания. Неужели мы не должны сознать это, неужели мы настолько уже испорчены, что живую жизнь начинаем любить менее, чем игру теней в зеркале (3.265).

«Успокоение — вот то, в чем мы всего более нуждаемся» — как хорошо объясняют эти слова, зачем понадобилась христианская метафизика, все это складно сколоченное здание и все-таки заранее обреченное на разрушение. Потому что успокоения все-таки не было, и минутами с невероятной остротой вспоминалось, что всего-то навсего сколочен «отвратительный сарай». И еще потому, что «каждая душа должна сгорать» и право выска-

* Теперь Розанов сильно изменил свое отношение к Гоголю, уже не читает нравоучений, отдаваясь его фантастике, тревоге, страданиям. Свидетельствует об этом, между прочим, замечательная и необычная статья Розанова «Магическая страница у Гоголя». («Весы», 1909 г, №№ 8 и 9).

зять свое из темных источников идущее слово получает лишь длительным рабством, длительным сковыванием цепей для самого себя.

IV

Самым характерным для нового Розанова было то, что он вдруг поверил своему неясному и не сводимому на простые понятия инстинкту. Теперь ему этих холодных, общеобязательных понятий больше не нужно. Он вдруг начинает говорить о своих *ощущениях*. Темное, но жгучее ощущение становится единственным принципом его высказываний, его мыслей. Об успокоении, о твердом месте, о ясных мыслях думать уже некогда, потому что властно надвигается иное, хаотическое и красочное.

Особенно странно, почему он так долго и упорно защищал аскетизм. О, несомненно, аскетизм — это не только скучная норма. В аскетизме, и в мучительстве и в умышленном страдании есть своя тайна, своя притягательная сила. Но не был этим аскетизм для Розанова. А был унылым теоретизированием, привычным общим местом.

Когда Розанов понял, что в современности господствует мертвенный позитивизм, он отшатнулся резко. Стояла перед ним дилемма — или западнический рационализм, или славянофильская христианская метафизика. Отшатнувшись от первого, горячо стал отстаивать второе. Еще не видна была возможность третьего и совсем отличного пути. Еще не мелькала соблазнительная возможность — и христианскую метафизику и позитивизм отнести за одну общую скобку.

Или еще так можно сказать: раньше всего Розанов подверг гносеологическому сомнению господствующее направление современности. Нашел, что оно детски упрощает действительность, забивает ее, все жизненные соки вытравливает. Может быть, и правильно, по законам логики производится это упрощение, да кому нужно самое упрощение? Правильна ли самая мысль об упрощении? Отрекшись от рационализма, Розанов выставил против него славянофильство, христианство. Но ведь настало время и христианство подвергнуть тому же гносеологическому сомнению. И вот что этой задачи Розанов несколько не испугался, а до конца ее прошел, — в этом явление не совсем уже обычное. Все-таки высказанные мысли власть имеют, все-таки выявленная система — это частица души писателя. И проверять ее, отказаться от нее — значит отрезать от себя живое мясо. Не все

отваживались на такую операцию, какие бы основания для нее ни представлялись.

Система выстроена была гладко. Все вплоть до нового литературного течения могло найти в ней объяснение, и притом из законов мировой жизни объяснение. Но прорывались и неожиданные и всю целостность разрывающие чувства. Как раз на вопросе об аскетизме это особенно сказывается. Повторяю, аскетизм может быть принят именно чувством, именно живым ощущением. Но для Розанова он все-таки был формальным логическим понятием, удачно завершающим теоретически придуманную систему. Иначе как можно объяснить неожиданные, но странно искренние признания — уже в ранних книгах, вроде следующих:

«Среди всяческих мечтаний жизнь все-таки есть и нормально должна быть радостью, которая кончается только со смертью» (5.272). «Нельзя достаточно настаивать на том, что христианство есть радость, и только радость, и всегда радость» (5.244).

Или еще в статье 1895 года:

«Разве уже нет утешения в том, что истина всегда радостна, что все печальное *eo ipso* * есть и заблуждение? Разве это не залог, что Бог и жизнь — одно, и как вечен Он — не умрет Она» (8.124). Или еще в одном из своих афоризмов (он их называет «эмбрионы») еще отчетливее Розанов подчеркивает, что из двух понятий — радость или христианство уже тогда было для него важнее. Атеизм страшен для него не потому, что в нем кощунство, но потому, что в нем отчаяние, пессимизм (5.244). Как недалеко был от того, чтобы спросить: да дает ли христианство наибольшую радость? и при отрицательном ответе и от христианства отречься.

В некоторых из своих «Эмбрионов» Розанов идет еще дальше, уже кое-что неожиданное и странное высказывает:

«Все гении тяготеют к премирному. Не есть ли предварение этой черты то, что все люди тяготеют к необыкновенному, странному; к ужасному даже» (5.242).

Или в ином месте он задает совсем уже тревожный вопрос: почему половые аномалии так часто встречаются у гениев? (5.240).

И как бы ни были неожиданны все эти вопросы, проблемы и замечания, пока Розанов спешит от них отмахнуться, поскорее

* Само по себе (*лат.*).

спрятаться в испытанную гавань благополучия. Говоря о значении тоски, ночи, испуга, спешит прибавить: «Вчера испуганные — сегодня умилились. Вот Евангелие и Библия» (5.242). Оказывается, что сладенькое умиление отлично разрешает пока все эти проблемы и «православие есть вечная религия, в противоположность временным — католицизму и протестантству: вечная, ибо она не раздражает, как те, но удовлетворяет душу человеческую» (8.243). И по-прежнему идеалом для Розанова является священник: «он стоит на узком месте, в неподатливых гранях замкнута его жизнь, но вот, в своем ограничении он счастлив, умиротворен» (5.24). И по-прежнему, считая себя большим практиком, изобретает он панацею для исцеления человечества: «ввести неудачную программу в семинариях хуже, чем неудачно воевать под Севастополем» (5.243).

Однако, недаром сказаны слова о знойной красоте, о тяготе к ужасному и о радости. Недаром афоризмы названы «Эмбрионами». Из них суждено вырасти новым мыслям, неожиданным и странным, но властным.

«В акте рождения соединен весь органический мир, так разъединенный во всем остальном своем существовании» (7.47) — вот маленькая мысль, из которой суждено было произойти урагану. И уже одна из четырех сереньких книжек Розанова, которые вышли все вместе в 1899 году, заключая в себе статьи за предыдущее десятилетие и как бы подводя им итог, — уже одна из этих книжек, «Религия и культура», наполовину отдана этой буре, неожиданно вставшему вопросу о *поле*.

Только ли позитивизмом своим грешна современность? Уныние и мертвенность от позитивизма ли зависят или у того и другого вместе есть одна общая причина?

Самый повседневный газетный факт, история какого-то коммерсанта, соблаздившего модистку, в результате чего были выкидыш и смерть, наводит Розанова на такой вопрос. Как яркая антитеза этому газетному сообщению, вспоминается из глубины веков, из книги пророка Даниила история Сусанны, «весь этот всплеск бурно текущих и святых чувств» вспоминается рядом с «гнусной слизью» наших дней. Но эти две истории характерно выражают две эпохи. Не оттого ли безжизненна и арифметична наша культура, что «в идеях, в созерцании мужском женщина спустилась до малозначительности прислуги — необходимой, но низшей и чуть-чуть нечистоплотной вещи» (5.191)? Даром ли уже давно и почти нечаянно сорвалось слово: «скопческая» наша культура? И не пора ли сказать, что «оплакиваемое здесь — не женщина только, но вся наша цивили-

лизация. Ибо какова женщина, такова есть или очень скоро станет вся культура» (5.190)?

Но, как прямое следствие, явился новый вопрос, так сильно накренивший, а потом и разломавший всю гармоничную систему.

На чьей стороне христианство? На стороне ли святой и плотской древности или скопческой современности? Ответ на него был добыт Розановым многолетней борьбой. Долго готов он упорно отстаивать христианство. И все-таки уже тогда становится несомненным, что цивилизация от Евангелия оторвалась, что Евангелие не удалось, в жизнь не вошло. Так страстно, так сердечно хотелось, чтобы весь космический процесс и вся история человечества шли к примирению, к умилению, чтобы в самом деле христианство оказалось торжествующим. Но пропасть открывается: да, христианство свято и жизненно, но почему же жизнь прошла *мимо* него?

На самом деле, Евангелие — это целомудрие, возведенное в абсолют. А цивилизация, на нем основанная, — это регламентация проституции (5.156). Вся позднейшая разработка христианства ушла в догматическую, словесную сторону, а не на подлинное творчество жизни, в результате — «постылый брак, типично пассивная семья, без игры солнечных лучей в ней, без солнечных молитв, здесь льющихся» (5.194). Это не так мало. Это расторжение идеального и животного, начавшись религией, овладев философией, подчинило себе и практику будней нашего бытия. «Это расторжение не только губит животное в нас, т. е. *живое* и самую *жизнь*, изъяв из нее *идеал*, *свет*, просвещение, но и обратно: оно внесло безжизненность в наши предполагаемые идеи, бессочность, бескровность». «Вместо кровных мыслей — фикции». «Мы поклоняемся пустоте» (5.196). «*Жало смерти, идея небытия* пульсируют в нашей крови» (5.238).

Стиль Розанова тревожен. Мелькают мысли, схваченные и незаконченные. Пестрят страницу внезапные и случайные подчеркивания.

Тревого разрешается, наконец, отчетливым вопросом и решительным на него ответом:

«Где же исцеление от этих скорбей?

«В восстановлении *ветхой* *деньми* мысли брака... Прольем религию в самый пол; ощущение высокого и чистого, что уже сейчас мы соединяем с религиозными отношениями, внесем это ощущение в его незагрязненности и святости в самый пульс своего бытия, кажущуюся *животную* его часть — и мы высветимся изнутри себя, религия брызнет из крови нашей, в сочных и кровных ее чертах, взамен теперешнего религиозного номинализма и индифферентизма» (5.197).

И не спрашивая пока дальше о связи этой выбившейся из подземных темнот струи необузданных ощущений — о связи с христианством, Розанов набрасывает картину по-иному, преображенно представшему перед ним миру. Та связь вещей, о которой, как о логическом термине, думалось уже давно и упорно, — теперь предстала в живом ощущении. «Природа, история, религия исполнены потрясающих таинств» (5.185) — вот та норма, с которой должно теперь подходить к любому явлению, вот формальное выражение закона всеобщей связи, который оживляет и связует человека, природу, Бога, трансцендентное, быт, перекраивает мир в фантастическую и звучащую картину. Но, чтобы наполнить этот формальный принцип живым содержанием, для этого «нужен некоторый лучащийся нимб настроения», нужно, «чтобы в это светлое пятно ниспал огонь новой жизни» (5.202). Такой нимб способен дать лишь жизнетворческий, попадающий инстинкт.

Недаром так вдруг молодеет Розанов и образцово-молодым Шиллером пополняет свою встревоженность, свою страстность.

«Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит.
У груди благой природы
Все, что дышит, радость пьет;
Все созданья, все народы
За собой она влечет»¹².

Радость вечная, но не шиллеровская задорная и ясная, но темная, ночная. «Ночь темна, т. е. она таинственна». Но ночь влечет потому, что она «действительно есть великая сеятельница, какая-то таинственная сеятельница для целой земли» (5.171). «Темнота не как грех: о нет! — но как важное. На биржу мы спешим утром, но замечательно — в храм идем или ко всеобщей или к утрени, в обоих случаях по темным еще улицам» (5.172). Так полунамеками связывается у Розанова ночь, религия, тайна, пол. А вот та же мысль, та же связь еще высказаннее, явнее, где стержень всей этой связи преображенной жизни выявлен ясно:

«Пол — это начинающаяся ночь в самой организации человека: в том смысле, что ясно анатомическое и сухо анатомическое его расчленение теряет здесь ясность, сухость и вместе рациональность свою. Все, приближаясь сюда, становится трансцендентно, т. е. не только окружено трансцендентными по необъяснимости своей бурями, *огнем поедаящим*, но и вообще как-то переливается в значительности своей за край только ана-

томических терминов. Это — второе темное лицо в человеке, и, собственно, оно есть ноуменальное в нем лицо: от этого — творчество не по отношению к идеям, но к самым вещам, *клубящее* из себя жизнь» (5.172). Или еще: «любовь, именно чувственная любовь, несмотря на ее грозовые и разрушительные иногда явления, драгоценна, велика и загадочна тем, что она пронизывает все человечество какими-то жгучими лучами, но одновременно и нитями прочности» (5.163).

Найден центр мира, пульс бытия, связь вещей. И что есть Бог? Бог есть эта чувственная любовь, это «благословение тонкому и нежному аромату, которым благоухает мир Божий, сад Божий, — этому нектару цветов его, тычинок и пестиков, откуда, если рассмотреть внимательно, течет всякая поэзия, растет гений, теплится молитва, и, наконец, из вечности и в вечность льется бытие мира?» (5.162).

Совсем этого не поняли и не учуяли христиане, вот иконописцы, их цель — бесстрастным изобразить Христа, но это только бегство от задачи.

Платона готов теперь благословить Розанов и уже не только как подготовительную ступень к христианству-аскетизму. Со всем иначе. Платон проник в некую тайну, ибо он «настойчиво говорит, что лишь безумствующие в любви, а не остающиеся в ней рассудительными, поступают правильно» (5.177).

Но подлинную, новую отчизну открывает Розанов в Востоке, Египте, в еврействе. Здесь было осуществлено то, о чем теперь можно только тосковать, здесь была эта душная атмосфера, это слияние Бога и человека через чувственную любовь, через обрезание. Здесь можно найти быт и краски искомого великолепия.

Сам Бог повелел Моисею сделать светильник из золота чистого, «чеканный должен быть он; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него... а на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами... смотри — сделай все, как я показал тебе на горе». А ведь древностью засвидетельствовано, что плод миндального дерева и гранатового яблока суть символы плодородия и его органов. И те же яблоки из нитей голубого, яхонтового и пурпурного цвета повелел Бог сделать по подолу священной одежды — ефода. Так каждый индивидуум сочленяется в Библии с суком, на котором он сидит. И недаром так обычен для Библии такой мотив: «оплачу девство мое», или такими характерными словами заключает одну библейскую историю летописец, с печалью говоря: «так она и не познала мужа». Точно пролила жидкость драгоценную. И как связывается со всем этим кажущееся нам таким странным «почти отсутствие

идеи греха». И «смерть — как она легка для них». Да разве может быть сознание греха, раз «порыв плоти в ее эфирнейшем излучении есть преображение именно плоти из смрада и греха в чистоту и светоносность» (5.184).

Да, библейская древность — это подлинная отчизна, великий незабвенный идеал. Мы только «*умственно* развились до великих теологических систем», тогда как «Восток развился *усиленно до ощущения святости*» (5.218).

Одна из этих четырех сереньких книжечек 1899 года завершается такими бесстыдно и жгуче переданными ощущениями, переживаемыми все космические отношения, острым клином вторгающимися в холодную, отвлеченную, аскетическую систему. Не нужно забывать, однако, что на тех же последних страницах этой книги «Религия и культура» содержится и пресловутый афоризм о неудачной программе преподавания в духовных семинариях. Может быть сделано сопоставление и еще более любопытное, еще более подчеркивающее, каким вихрем вторгались вновь открытые ощущения в скромненькое христианство.

В начале книги помещена рецензия Розанова на книгу В. Ключевского «Добрые люди древней Руси». Розанов восторгается древне-русским *нищелюбием*. Добрая женщина XVII века, некая Осорьина¹³, которая обшивала всех сирот и немощных вдов, которая выручку от своего рукоделия тайком раздавала нищим, ходила всю зиму без шубы ради нищих, голодала ради нищих — вот идеал, вот кто понял смысл жизни, вот свидетельство того, как глубоко дух евангельский повлиял на народные характеры Востока (5.55–67). В конце книги есть также картинка идеальной жизни, которой должна позавидовать и у которой должна поучиться современность. Это тоже из древности, но из более «седой древности», это тоже Восток, у которого учится Запад, но более отдаленный Восток. На место всеобщей заповеди милостыни на этот раз ставится, как своеобразно выражается Розанов, заповедь «всеобщей принудительной грамотности, переведенной на язык святого чрева». (5.220). Вспоминает Розанов из Геродота: «у вавилонян есть, однако, следующий отвратительный обычай: каждая туземная женщина обязана раз в жизни иметь сообщение с иноземцем в храме Милитты»¹⁴. Но обычай этот не кажется Розанову отвратительным. Наоборот, что женщина, как бы знатна она ни была, должна следовать за первым позвавшим ее, кто бы он ни был — в этом Розанов отмечает «самоотвержение самое глубокое, милостыню самую поразительную» (5.223). «Отвратительное для Геродота для нас высвечивается необыкновенным, ясно небесным светом» (5.224). Вавило-

нянка, — отдающаяся в храме первому встречному, — вот кто понял смысл жизни, готов был бы воскликнуть теперь Розанов, ибо «вавилонянка точно понимает в брачном ритме небесное таинство».

От древне-русской боярыни, голодающей ради нищих, до вавилонянки, сочетавшей храм и чувственную любовь — так видоизменяется или так колеблется мысль Розанова. <...>

